

Как я не стал дворником на Жилианской улице

Когда он родился, по еврейской традиции его назвали именем покойного деда – Исаак. В послевоенном антисемитском Киеве жить с таким именем было не то, чтобы стыдно, а как-то не совсем уютно. Конечно, у других бывали имена похуже. Например, в двадцать седьмой квартире жил Сруль. Этот Сруль упорно называл себя Сергеем. Но портила дело любящая бабушка, которая высовывалась в окно четвертого этажа и кричала на весь двор: «Срулик! Иди кушать булочку с маслом, а потом получишь мармеладку». У других в то неурожайное лето 1945 победного года (хлеб – по карточкам) маковой росинки во рту не было. Естественно, этого Сруля во дворе не любили и дразнили его же собственным именем или кричали вслед: «Срулик-жулик наелся козюлек». Он обычно в таких случаях сразу распускал нюни и убежал домой. А Исаака, во избежание неприятностей, в обиходе называли Сашей. Это был блондин с голубыми глазами, и при первом взгляде ничто не выдавало в нем Исаака. Тем более, что фамилия у Саши была вполне безобидная – Стольный. Говорил он с небольшим нездешним акцентом, но это не умаляло его авторитета среди уличной шпаны. Он отличался от всех мальчишек во дворе тем, что всегда был чисто одет, не играл в футбол, не запрыгивал на ходу в трамвай и не вступал в драки. Он никогда не бегал с нами на стадион, когда играло киевское «Динамо», а ходил с мамой в филармонию. Что такое **фиралмония**, никто из голопузой братвы не знал, но само слово звучало уважительно, хоть и выговорить его было трудно. Потом этот Саша–Исаак куда-то уехал с родителями. Бабы во дворе говорили, что в Польшу. А встретились мы случайно через тридцать лет на врачебном семинаре в Тель-Авиве. Я подошел к нему и сказал, что в сорок пятом году в Киеве на улице Короленко жил мальчик, которого звали Саша Стольный. Фамилия не типичная и редко встречающаяся. Не родственник ли? Доктор Стольный улыбнулся:

– Это был я.

Пришлось и мне себя назвать. Он, конечно, помнил. И даже помнил, что меня во дворе дразнили – «вакса–клякса». Он и тогда знал, почему ко мне прилипло это обидное прозвище. А я узнал причину спустя годы. Вдовая соседка на коммунальной кухне что-то не поделила с моей мамой, обозвала ее нехорошим словом и выпалила:

– Мы не забыли все твои похождения. И твоего Вакса не забыли. Только несуразный лопух вроде твоего Арончика способен притворяться и делать вид, что ничего не было. Нормальный мужик никогда бы такого не простил.

Тогда–то я и узнал, что фамилия дяди, который в первое послевоенное лето нежданно-негаданно вторгся в мою жизнь, была Вакс. У этого Вакса, польского еврея, в гетто погибла семья, и ему после фронтового ранения и демобилизации

некуда было приткнуться. Кто-то из доброжелателей познакомил его с моей мамой. Пятилетняя Лорочка сразу стала называть его папой, охотно садилась к нему на колени, смеялась, когда он поднимал ее «аж до потолка». А я его никак не называл и вообще старался с ним не общаться. Какой он мне папа? Я знал, что мой папа погиб на фронте. У нас в семейном альбоме была фотография папы в военной форме. Все говорили, что я на него похож – «одно лицо». На дядю Милю я смотрел волчком и даже гордо отвернулся, когда он мне хотел сунуть конфету-подушечку. И в уральской эвакуации, и когда мы вернулись в Киев – я всегда, сколько себя помнил, спал с мамой. Было тепло и в темноте не страшно. А теперь с мамой спал дядя Миля. Лорочке стелили на сундуке, а мне на шаткой раскладушке.

Однажды я проснулся ночью оттого, что мама стонала. Я открыл глаза и увидел, что дядя Миля навалился на нее и душит. А она, бедная, дрожит и вырывается. Что делать? Я схватил стоявший в углу веник и с размаха сильно ударил его по спине. Я хотел в тот момент убить дядю Милю. Ему повезло, что в комнате не было кочерги. Но веник тоже сделал свое дело. Дядя Миля испугался и сдвинулся набок, а мама слезла с кровати и стала меня целовать и успокаивать. Она плакала, и ее теплые слезы текли по моему лицу.

Наутро я рассказал Леньке Подольскому о своем ночном подвиге. Ленька был старше на три года, он уже перешел в четвертый класс. Леньку я любил, потому что знал – он не даст в обиду. Ленька мне объяснил, что детей не находят в капусте. То, что я видел ночью – это мама с дядей Милей делали ребеночка. И заключил, что у меня скоро появится младший братик или, может быть, еще одна сестричка. Я, конечно, ему не поверил.

Все это Ленька говорил, когда мы привычно шли вниз по Короленко на товарную станцию. Ходить туда одному было опасно. Чужие пацаны могли обшарить карманы или без всякой причины дать по сопатке. Леньку не трогали. На товарной станции часто останавливались воинские эшелоны. А возле путей валялись пустые банки из-под американской тушенки – мы их вылизывали. Иногда курившие возле вагонов солдаты давали нам что-нибудь съестное, чаще всего пахнущую махоркой галету или консервную банку с остатком содержимого. Утолив голод, мы собирали окурки, патроны и, если повезет, находили бутылки из-под водки, которые можно было сдать в «приемный пункт стеклотары» на углу Тарасовской и Саксаганского. Мы никогда не несли эти бутылки по улице в сетке-авоське открытыми. Знали, что подгулявшие мужики отнимут. Во избежание неприятностей мы накрывали пустые бутылки газетой. Чаще всего эта маленькая хитрость помогала. Шесть бутылок – порция мороженого.

Любимое развлечение – положить патроны цепочкой на трамвайные рельсы и спрятаться в ближайшем подъезде. Когда трамвай едет – звучит пулеметная очередь. Прохожие в испуге шарахаются, а нам смешно. Хромой дворник дядя Гриша с орденом Славы на выцветшей гимнастерке однажды собрал нас,

«мальцов неразумных», и стал объяснять, что наши проказы могут плохо кончиться. Вот недавно на Куреневке такая дурная пуля убила человека. Мы слушали дворника, соглашались, что так шалить нельзя, но забавы с патронами никто не собирался оставить. Когда после «пулеметной стрельбы» дядя Гриша ловил проказника и грозил отвести в милицию, тот обычно отнекивался, мол, не я, а кто – не знаю. Застукав меня на месте преступления, дядя Гриша повел меня не в милицию, а к маме. По дороге приговаривал, что если бы у него рос такой маленький хулиган, он бы ему быстро втолковал ремнем по голой жопе, в какие игры можно играть, а в какие – нет.

Со мной, «взрослым мальчиком, без пяти минут школьником», мама решила «серьезно поговорить». Но тут в разговор вмешался дядя Миля. Я ему показал язык и убежал во двор. Возвращаться домой я не хотел и просидел до темноты в соседнем парадном. Слышал, что меня искали, но не выходил из своего укрытия. Кончилось тем, что Ленька Подольский взял меня за руку и отвел домой. Я сопротивлялся, но Ленька был сильнее. А потом приехала бабушка и увезла меня в Одессу, где я пошел в первый класс.

Бабушка жила в «самостоятельной» двухкомнатной квартире на улице Средней. В одной комнате – я, бабушка и тетя Берта. В другой – дядя Вася и тетя Фира с годовалым сыном. Самая старшая бабушкина дочка, тетя Бася, жила за углом на улице Разумовской. Из разговоров я знал, что тетя Фира, младшая из сестер, будучи в эвакуации, бросила школу, обманула всех, что идет учиться на курсы крановщиц при оборонном заводе, а сама пошла в военкомат, прибавила себе год, и ее направили на курсы радисток. Через три месяца она явилась домой в военной форме и сказала, что завтра уезжает на фронт. Вернулась она в уже освобожденную Одессу в августе сорок четвертого года с маленьким ребенком на руках. Никому, даже бабушке, она не сказала, кто отец ребенка. Злые языки утверждали, что это «сын полка». Сплетни прекратились, когда перед самой Победой в Одессу приехал отец малыша – гвардии подполковник Василий Павлович Данилов. Он официально оформил брак с тетей Фирой, и ему дали квартиру. Ту самую, куда бабушка привезла меня. Я не раз слышал, как бабушка полупшепотом, успокаивая себя, говорила тете Басе: «Это ничего, что он гой¹ и намного старше. Зато не пьет, как другие, на сторону не ходит и по всему видно, что Фирочку нашу любит». При этом бабушка тяжело вздыхала, смахивала с глаз слезу и задумчиво произносила: «Бог даст, и для Берточки найдется пара. Трудно сейчас жизнь устроить. Все женихи там остались», – показывала она взмахом руки в сторону окна.

В Одессе мне жилось хорошо. Во всяком случае, не голодно. Если я и бегал на Привоз подворовывать с лотков яблоки или сливы, то это не с голодухи, а из озорства, чтобы не отставать от других мальчишек. По Привозу небольшими группами ходили цыгане. Они вечно ели сочные спелые абрикосы, а косточки

Не еврей - идиш¹

бросали под ноги. Я возвращался домой с полными карманами абрикосовых косточек. До сих пор одно из моих любимых лакомств – ядра абрикосовых косточек. А сливовые ядра горьки и абсолютно не съедобны. В этом я убедился на собственном опыте. А еще, если абрикосовую косточку тереть о кирпич до тех пор, пока в ней не образуется маленькая дырочка, получится отличный свисток. На дворовых соревнованиях – кто громче свиснет – я не раз бывал победителем. Во время таких состязаний соседки из окон кричали на нас, мальчишек, чтобы немедленно прекратили свист, иначе...

К этому времени относится одна из моих детских оплошек, о которой бабушка не могла забыть до самой смерти.

В дверь постучали.

– Кто там? – спросил я.

– Мальчик открой, это свои.

Я открыл дверь. На пороге стояла незнакомая женщина.

– Кто еще дома?

– Бабушка.

– Пойди позови ее.

Когда мы с бабушкой подошли, женщины и след простыл, а с вешалки исчезло красивое трофейное пальто, которое дядя Вася привез из Германии.

– А где Фирочкино новое пальто? – спросила бабушка.

– Не знаю.

Бабушка выбежала на улицу – ни тетки, ни пальто там уже, конечно, не было. И никто из редких прохожих ничего «такого» не видел. Бабушка запричитала и стала меня корить, мол, большой мальчик должен соображать, что нельзя открывать дверь чужим людям. Вечером тетя Фира, узнав о случившемся, прослезилась. Все смотрели на меня, как на маленького преступника, словно это я украл пальто. А дядя Вася сказал:

– Нечего слюни распускать. Никто не виноват, что куда ни глянь, вор на воре сидит. Ваша Одесса всегда этим славилась, – и, после небольшой паузы, – в воскресенье пойдем на толчок и купим другое пальто.

Однако другое пальто так и не купили. Тетя Фира всю зиму носила свою солдатскую шинель с аккуратно заштопанной дырочкой от осколка.

В жизни каждого человека бывают моменты, которые потом со всеми подробностями прокручиваются в памяти сотни раз. Первое, что я помню – один из последних дней 1940 года. Мне около трех лет. Посреди комнаты на высоком деревянном ящике стоит нарядная елка. На ней вместо игрушек подвешены конфеты в красивых фантиках. Я придвигаю поближе к елке табуретку, влезаю на нее, но до конфет не дотягиваюсь. Тогда я на эту табуретку ставлю маленький стульчик, хватаю конфету, тяну ее и падаю на пол вместе с елкой. Прихожу в себя на руках у мамы, которая приговаривает:

– Глупенький мальчик, разве тебе кто-то жалеет конфеты? Тебе, наверно, больно?

Ну скажи, где болит?

А мне не больно. Мне обидно, что так и не смог удержать в руке конфету. И еще я помню, как бомбили эшелон, в котором мы убегали из Киева. Состав остановился в степи. В вагоне все засуетились и, кто с узлами, а кто без, ринулись к единственной узкой двери. Вторая почему-то с самого начала была закрыта наглухо. Образовалась давка. Пробриться к выходу стало невозможно. Мама передала меня через разбитое окно в руки незнакомой женщине. Мне было страшно, но я не плакал. Мне казалось, что поезд с мамой вот-вот тронется, а я останусь. Той же случайной попутчице мама передала мою младшую сестричку Лорочку, а потом и сама спрыгнула на землю, упала и покатилась вниз по насыпи. От испуга я закричал, но моего крика никто не услышал, потому что из соседнего вагона раздавались истошные многоголосые вопли. Вагон дымил, оттуда вырывались к небу грязные языки пламени, и запах жареного мяса вперемешку с едким дымом разносился ветром по выжженному полю. А потом в беспорядочной толпе суматошных беженцев мы долго шли пешком вдоль железной дороги с развороченными рельсами. Лорка – на руках у мамы, а я ковылял рядом и старался не отставать, чтобы мама не сердилась. В каком-то придорожном селе хозяйка в обмен на мамину кофточку принесла нам целую тарелку картошки в мундирах и на отдельном блюде несколько соленых огурчиков и нарезанную луковицу. Посреди стола она поставила большой кувшин с холодной колодезной водой. Мама велела мне пить маленькими глоточками, чтобы, не дай Бог, не простудился. Заночевать нам разрешили в сарае на сене. Утром хозяин подвез нас на телеге к пристани в Переяслав-Хмельницком, где удалось сесть на баржу и – вниз по Днепру до Кременчуга. Помню, Лорку рвало. Из-за нее нас хотели высадить на берег, но все обошлось. В Кременчуге мама уговорила начальника вокзала разрешить нам сесть в поезд, и через две недели мы приехали в город Уральск. Туда перевели Одесское артиллерийское училище, где преподавал математику муж маминой старшей сестры дядя Меир. При эвакуации училища ему разрешили вывезти всю семью жены – мою бабушку и моих тетя БERTУ и Фиру. Они встретили нас на вокзале, откуда я первый раз в жизни ехал в кузове грузовой машины до дома, где нам всем вместе предстояло теперь жить. Всем вместе, но без моего папы. Папу, кадрового командира Красной Армии, перед самой войной перевели по службе в город Каунас. Он должен был там получить жилплощадь и после этого вызвать к себе семью. Но... Где-то через год по маминому запросу в Уральск пришло письмо из управления кадрами наркомата Вооруженных сил, что по имеющимся сведениям старший батальонный комиссар Арон Нахманович Авитов, 1908 года рождения, пал смертью храбрых в боях с немецко-фашистскими захватчиками в июле 1941 года.

Как семье погибшего командира нам выдали хлебные карточки и назначили пенсию. В Киев мы вернулись в самом конце 1944 года. Наш дом на улице Жилианской разбомбили, и взамен маме выделили другую жилплощадь – комнату в коммунальной квартире (пять соседей) в угловом доме на пересечении улиц

Короленко и Саксаганского. По тем временам четырнадцать квадратных метров с большим окном на солнечной стороне – это почти дворец. Мой товарищ Ленька Подольский ютился на девяти квадратных метрах с мамой, двумя тетями и бабушкой. Я стал ходить в детский сад, Лорка – в ясли, а мама с утра до вечера была на работе. Когда ворота детского сада запирали на замок, дежурная воспитательница переводила меня через дорогу, а дальше я шел домой сам и гулял во дворе с мальчишками до темноты. Когда я в Одессе пошел в первый класс, бабушка вздумала водить меня в школу за ручку. Мне было стыдно перед ребятами, и я уговорил ее не делать этого.

В первый день моих первых школьных каникул я разучивал с бабушкой для утренника стихотворение:

День седьмого ноября

Красный день календаря...

Бабушка требовала, чтобы я декламировал «с выражением». Дядя Вася к ужину еще не вернулся, а тетя Берта и тетя Фира пили чай и одобрительно слушали. Стихотворение мне не очень нравилось, но бабушка заставила выучить наизусть. «Ты должен быть на утреннике лучше всех», – уговаривала она меня. Но дочитать стихотворение до конца в тот раз не получилось. В комнату не вошла, а вбежала тетя Бася и, сдерживая рыдания, прокричала:

– Арик нашелся, вот, он прислал письмо!

И только, когда бабушка сказала:

– Надо немедленно сообщить Соне, – я понял, что письмо, которое тетя Бася держала в руках, – от моего настоящего папы. И у бабушки, и у всех моих тетей на глазах были слезы, а я почувствовал себя именинником, выбежал на улицу и столкнулся с возвращавшимся со службы дядей Васей.

– Мой папа нашелся, он живой, его немцы не убили, – радостно сообщил я ему.

В тот вечер я долго не мог уснуть, а из соседней комнаты до меня долетали обрывки полусшепотом сказанных фраз.

Бабушка: «Ну и что с того, что он инвалид? Соня все равно обязана его принять.

У детей должен быть отец, родной отец».

Тетя Берта: «А сможет ли он простить?».

Тетя Бася: «Соня ни в чем не виновата. Ей официально сообщили, что Арик погиб».

Дядя Вася: «Если этот ваш Арик нормальный мужик, он все поймет и не станет попрекать».

Когда я утром проснулся, письмо от папы лежало на столе. Это был свернутый треугольником вырванный из ученической тетради листок в косую линейку. Я потом перечитывал это письмо тысячи раз и до сих пор помню его наизусть. Оно начиналось без всякого обращения, словно написано в никуда:

По этому адресу до войны жила мама моей жены Роза Абрамовна Кушнер. Не знаю, жива ли она, успела ли вовремя эвакуироваться.

Не знаю, где теперь находятся проживавшие там же сестры моей жены Бася, Берта и Фира. Что с ними? Не знаю, жива ли моя любимая жена Софья Ильинична Авитова и что с моими дорогими детками Люсиком и Лорочкой. Мне тут соседи по палате говорят, что скорей всего они не успели эвакуироваться и ушли в Бабий Яр. Но я не верю!

Мое письмо в Киев почта вернула с пометкой, что дом разрушен.

Люди добрые, если вам что-либо известно, отзовитесь!

Я после ранения нахожусь в госпитале для инвалидов Отечественной войны, город Славута.

С уважением, Арон Авитов.

Спустя без малого тридцать лет, когда я, «запутавшись в паутине сионистской пропаганды», решил ехать в Израиль, это письмо у меня конфисковали при обыске. Вероятно, зачитанный до дыр и пожелтевший от времени тетрадный листок в косую линейку представлял собой несусветную опасность для одной отдельно взятой страны.

По рассказам знаю, что как только мама узнала про письмо, она тут же поехала в Славуту и добилась, чтобы папу перевели в Киев. Начальник госпиталя советовал не спешить:

– Посмотрите на него. Нет никаких шансов. Он все равно умрет не сегодня – завтра. А вы молоды, вам еще жить и жить.

Бабушка обещала поехать со мной на зимние каникулы в Киев, чтобы повидаться с папой. Но это при условии, что у меня в табеле будут одни пятерки. Я старался, честно выполнял все домашние задания и не болтал на уроках. Но все равно у меня в табеле за вторую четверть была четверка. Только одна четверка – по чистописанию. Эту четверку бабушка мне простила.

В Киеве на вокзале нас встречала мама.

– А где же папа? – спросил я после того, как она выпустила меня из своих объятий.

– Папа в госпитале. Завтра вы все поедете к нему в Пущу–Водицу, а мне придется подождать до воскресения. С работы не отпустят.

В трамвае по дороге с вокзала я вдруг вспомнил про дядю Милю. Мне совсем не хотелось с ним встречаться. К счастью, дяди Мили дома не оказалось. Он ушел из нашей жизни. Я не стал спрашивать, куда ушел. Ушел, и черт с ним, лишь бы не возвращался. Я потом всю жизнь старался вычеркнуть его из памяти. Но рана не заживала.

А на следующий день в битком набитом трамвае двенадцатого маршрута мы – я, бабушка и Лорка – целый час ехали в Пущу–Водицу. Вышли на девятой линии и

– пешочком через лес до госпиталя. Навстречу по протоптанной в снегу тропинке шел высокий худой старик, одетый в полосатую больничную пижаму, поверх которой был наброшен рваный халат без застежек.

– Арик! – бросилась к нему бабушка, но он отвернул голову, отстранился и не дал себя поцеловать.

Старик подошел ближе, остановился и внимательно посмотрел на меня.

– Как ты вырос, сынок, – сказал он, – тебя трудно узнать.

Этот старик совсем не был похож на того красивого папу в военной форме из альбома. Но внутри у меня что-то екнуло. Я почувствовал родную душу и прыгнул на него, чтобы обнять, прижаться, но и меня он отстранил:

– Не надо, сынок, это ни к чему.

Мне стало обидно до слез. Бабушка заплакала, а я от досады хотел вернуться к трамваю и уехать домой, а потом в Одессу. Потому что папа, мой настоящий папа, меня не любит. И тут Лорка, маленькая Лорка, с которой я никогда не любил играть, сказала мне и бабушке:

– Папа нас всех любит. Он хороший. Но с ним нельзя целоваться и обниматься – у него туберкулез.

Что такое туберкулез, я, конечно, не знал, но Лоркины слова немного успокоили.

И тут заговорила бабушка:

– Ты, Арик, не переживай. Все будет хорошо. Мне соседка говорила, что это лечится. Надо перетопить бараний жир, размешать с медом и каждый день по три столовых ложки. Ты прости, мы только вчера приехали, и я не успела. В следующий раз обязательно привезу баночку. Я, конечно, могла все купить на Привозе, но боялась, что жир в поезде задохнется. А надо, чтобы все было свежее. И мед не от рабочей пчелы, а от матки. Завтра же поеду на базар, все куплю и приготовлю. Деньги у меня есть. Василий, Фирочкин муж, дал. Он хоть и гой, но человек хороший, не пьет. Сам купил нам билеты в воинской кассе...

В Одессу я с бабушкой не вернулся и оканчивал первый класс в Киеве. Мама записала меня в 34-ю мужскую школу, а я хотел в 131-ю, где учился Ленька Подольский. 131-я школа находилась рядом с центральным стадионом. По дороге туда надо было перейти оживленную Красноармейскую улицу, по которой в те годы ходил трамвай. Мама не хотела, чтобы я сам переходил через опасную дорогу. А 34-я школа была в двух кварталах от стадиона на углу Жилянской и Горького.

Я был мальчиком шаловливым и непослушным. Проводить долгие часы в школе на нудных уроках, где сто раз пережевывали одно и то же правило или целый час решали простенькую задачку, мне было скучно. Я часто сбегал с уроков на стадион, пересекая эту самую Красноармейскую туда и обратно несколько раз в день, и ничего со мной не случилось. На стадионе я сдружился с малолетними босяками, охотно играл с ними в футбол, в карты на щелчки, научился курить, но к карманным кражам, которыми увлекались мои новые друзья, не приобщился.

К папе в Пущу-Водицу мы ездили каждое воскресенье. В отличие от мамы он меня никогда не ругал, но часто повторял, что если я не буду серьезно относиться к занятиям в школе, то останусь неучем и всю жизнь буду работать дворником на Жилянской улице. Я обычно возражал ему словами наших учителей, что работать где бы то ни было не стыдно, стыдно воровать.

У всех мужчин, вернувшихся с войны, было много орденов и медалей. Они надевали свои награды в дни праздников и важно шагали по улице, преисполненные гордости. А у моего папы – ни одного ордена и только одна скромненькая медаль «Партизану Отечественной войны». А когда мне исполнилось десять лет, и папа жил уже не в госпитале, а дома, его неожиданно вызвали к следователю и эту единственную медаль отобрали. По ночам он с мамой шептался, а я делал вид, что сплю, и прислушивался. Так я узнал, что следователь «шьет ему дело», потому что в то время, как все советские люди воевали с фашистской нечистью, он уклонился от исполнения воинского долга и прогуливался по лесочкам. У половины ребят из моего класса пап вообще не было – с войны не вернулись. А папы, которые не погибли на фронте, все были героями. И только мой папа... Но все равно я его любил, потому что он был хорошим и добрым.

У нас в доме при мне никогда не говорили о политике и не поднимался национальный вопрос. О том, что я еврей, мне сказали на улице, обозвав жидовской мордой. «Ты сам жидовская морда», – смело огрызнулся я и полез в драку. Дома пришлось оправдываться и объяснять, откуда синяк под глазом. И, к моему великому сожалению, оказалось, что я таки да – еврей. Но никаких национальных традиций у нас в семье не соблюдали. А то, что бабушка не ест свинину, я относил к ее причудам, но не связывал никак с еврейским обычаем. Школа воспитывала меня в духе советского патриотизма, но при всем при том я не верил тому, что печаталось в газетах и говорилось по радио. Уже в школьном детстве я скорее интуитивно, чем сознательно, чувствовал зло системы, но все-таки верил во что-то светлое и справедливое. Эта вера помогала не погрузиться в дурман окружающей лжи. Я не делился ни с кем своими крамольными мыслями. Даже с папой не делился, потому что в общении со мной он всегда избегал острых углов и многократно повторял, что жить надо, как все вокруг, и держать язык за зубами. Но случалось, что он забывал об осторожности, и тогда здравый рассудок не мог остановить то, что шло от сердца. Когда я сказал, что нашей пионерской дружине присвоили имя Павлика Морозова, папа ухмыльнулся и спросил:

– А ты, сынок, мог бы настучать на своего отца?

С того дня Павлик Морозов перестал быть для меня примером поведения.

Кто-то из папиных довоенных друзей, пробившихся в большие начальники, встретил на улице мою маму и посоветовал, чтобы папа перестал искать правду, и для него лучше всего в данной ситуации временно уехать из Киева куда-нибудь в глубинку. Там переждать, пока не закончится вся эта свистопляска с

космополитами. Искать его по всему свету никто не станет – не та фигура, а папку с делом отложат в сторонку. Когда разнарядку по выявленным космополитам выполнят, можно будет спокойно вернуться.

В те дни школьный завуч Касьян Васильевич Цымбаленко спросил меня, часто ли я вижу своего папу, бывает ли он дома? Я, конечно, сразу понял, откуда ветер дует, и выпалил: «Мой папа в секретной командировке. Он выполняет важное задание Родины». Касьян погладил меня по голове и оставил в покое. Он, вероятно, подумал, что я маленький идиот, но я-то знал, что это он сам идиот.

Где папа скрывался, это был большой секрет, и от меня в том числе, чтобы случайно не сболтнул, где не надо. Но когда семья живет в одной четырнадцатиметровой комнате, все семейные секреты рано или поздно перестают быть секретами. Папа под видом жениха жил некоторое время у тети Берты на станции Раздельной под Одессой. Там она работала по направлению после окончания техникума.

Как ни оберегали меня родители от всего «лишнего», неосторожно оброненные «лишние» фразы проникали в сознание надежней, чем надоедливые урапатриотические лозунги и моральный кодекс строителя коммунизма. Когда в газетах напечатали про врачей-вредителей, папа в сердцах сказал:

– Боюсь, что опять затевается охота на ведьм. И на этот раз поездка в гости к Берте не спасет.

Мама ему сделала знак, чтобы замолчал, потому что я все слышу.

А когда умер Сталин, страна погрузилась в траур. Казалось, что наступил конец света. Люди растерялись – как жить дальше? В моем сознании Сталин был подобен Богу. Все творившиеся безобразия я никак не связывал с его именем. Если бы Сталин знал, то никогда бы не допустил несправедливости. В школе вместо уроков был митинг. Но никто не радовался, что отменили уроки. Учителя плакали, а мы торжественно молчали. Я пришел домой с черно-красной траурной повязкой на рукаве. Папа сидел за столом со своим младшим братом дядей Мишей. Оба были немного пьяны. На столе стояли пустая бутылка водки и тарелка с двумя ломтиками ржавой селедки и нарезанным кружочками соленым огурцом. Дядя Миша, майор авиации, всю войну пролетавший на штурмовике, был в парадной форме и при орденах. Он поднял граненый стакан, где на дне еще было немного водки, и сказал:

– Дворнику ничего не оставим, допьем сами. За то, чтобы после смерти усатого живодера жить стало легче.

– Не будет легче, – папа поднял свой стакан, – те, что остались, они такие же уроды.

Он осушил стакан и только тут обратил внимание, что я в комнате, все слышу, и у меня в глазах гнев. Мне показалось, что за столом сидят враги. Я готов был наброситься на них с кулаками. Папа хотел было положить в рот надкушенный кружочек огурца, но вернул его в тарелку, вопросительно глянул в мою сторону и мягко проговорил:

– Я надеюсь, что у меня умный сын, которому ничего не надо объяснять. Сними эту нелепую повязку.

Когда врачей оправдали и справедливость восторжествовала, меня приняли в комсомол. Мне исполнилось четырнадцать лет, и я учился в восьмом классе. Был горд и счастлив, что стал комсомольцем. Но папа, сам того не зная, испортил праздник. Вечером, когда я лег спать, он сказал маме:

– Дай Бог, чтобы они в институт его приняли так легко, как в этот комсомол. Они не хотят, чтобы еврейские дети получали высшее образование. При царе-батюшке была официальная норма – пять процентов. А сегодня в киевских вузах и одного процента нет. Хотят сделать нашего сына дворником на Жилянской улице.

Серебряная медаль после окончания школы не помогла мне поступить в институт в Киеве. Пришлось уехать в Архангельск, где вопрос о подготовке в первую очередь национальных кадров не был предметом особой важности. «Лицам еврейской национальности» дозволялось учиться в периферийных российских вузах, разумеется, в допустимых дозах.

Зимой 1956 года после первой экзаменационной сессии в институте я приехал в Киев на зимние каникулы. Папа был в хорошем настроении. Он поцеловал меня в лоб и положил на стол красные корочки размера записной книжки:

– Смотри, сынок, меня восстановили в партии. Все эти пятнадцать лет засчитали в стаж. Все-таки я им доказал!

Я никогда в жизни не произносил матерных слов, не бравировал ими для важности, как большинство моих ровесников. Но тут меня прорвало:

– Папуля, – сказал я, – на кой хрен тебе сдалась эта партия? Кому и что ты доказал?

Было видно, что он обиделся. Не такой реакции ожидал от меня. После неловкой паузы он заговорил. Спокойно, без надрыва:

– Себе доказал, тебе доказал, всем доказал. Доказал, что я честный человек. И не моя вина, что в неразберихе первых дней войны попал в окружение. А потом был плен. Да, был плен, б-ы-л, бы-ы-ыл, но мне удалось бежать и присоединиться к партизанам. А ты... Ты ничего не понимаешь в этой жизни и позволяешь себе так грубо разговаривать вместо того, чтоб радоваться вместе со мной. Я снял с себя клеймо позора. И с тебя снял. Хотя сын за отца не отвечает, но все-таки... Ты, конечно, никогда не читал Библию. Вам вместо этого вдалбливают материализм и другие глупости. А в священной Книге есть такое изречение: «отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина». У тебя теперь не будет никакой оскомины, тебе не придется краснеть за отца и волноваться при заполнении анкет.

Папа никогда не говорил со мной о войне. Он уклонялся от ответов на мои детские вопросы, а я, повзрослев, перестал задавать их. Какая разница, где он был в те годы? Он мой отец, и я его люблю. Люблю больше, чем эту родину-уродину, которая хотела сделать из меня Павлика Морозова.

В тот день папа скупо рассказал мне, что немцы заняли Каунас в первый день войны. В составе небольшой группы бойцов он пытался выйти из окружения. Усталые и голодные, они набрали на какой-то литовский хутор. Немцев там не было. Хозяин поставил на стол бутылку самогона и хорошую закуску. Пригласил заночевать на сеновале. Так они попали в плен. Никто из группы папу не выдал. А в лагере его спасло то, что он в детстве некоторое время жил в Крыму и немного говорил по-татарски. Татар немцы не убивали. Через несколько месяцев плена удалось бежать и присоединиться к партизанам. О командирском опыте пришлось забыть. Воевал простым бойцом. Когда летом 1944 года соединились с наступающими частями Красной Армии, оказалось, что не всех партизан родина признала равноправными участниками войны. Некоторых поспешно судили и, кого – к расстрелу, а кого – на химию в Сибирь. В фильтрационном пункте молодой лейтенантик СМЕРША объявил папе, что ему разрешили искупить вину перед родиной. Его определили в штрафной батальон. До первой крови. А пока запретили всякую переписку и поиски родных. По существовавшему положению через три месяца пребывания в штрафном батальоне военнослужащих восстанавливали в звании, во всех правах и возвращали в свои части. Папу не освободили ни через три, ни через шесть месяцев – он попал в штрафбат не из воинской части. Чудом уцелел. Но чудо долго продолжаться не может. Весной сорок пятого в районе Праги он был тяжело ранен и попал в госпиталь. В конце концов, его восстановили в правах, назначили офицерскую пенсию и разрешили переписку. Казалось, что все мытарства позади. И, наверно, так бы и было, если бы он не вздумал подать заявление о восстановлении в партии. Тут-то и заварилась новая каша...

Прошли годы. Я окончил институт и не стал дворником на Жилианской улице, а стал врачом. Оправдал папины надежды. Отработав положенных три года на периферии, я вернулся в Киев, женился, родилась дочка. Работая на селе, я забыл о своем еврействе, а в Киеве с первых же шагов столкнулся с неприкрытой юдофобией.

К моему желанию уехать в Израиль папа отнесся отрицательно, хотя, в отличие от мамы, особо не отговаривал. Оба папиных брата – и погибший на войне Семен, и уцелевший Михаил – были женаты на русских женщинах. Мои двоюродные братья и сестры с папиной стороны по паспорту числились русскими и никаких неприятностей из-за плохой национальности не испытывали. Тем более, что фамилия Авитов² для неискушенного уха звучит вполне по-русски. Если бы антисемитизм в Советском Союзе ограничивался тем, что какой-нибудь невежа мог позволить себе обозвать еврея жидовской мордой, я бы никогда оттуда не уехал, потому что и русский язык, и русская культура – мои. Никакими декретами и пометками в паспорте у меня этого не отнять. С антисемитизмом на бытовой почве я бы мог смириться и воспринимать его как нежелательную данность. В

Типичная еврейская фамилия – аббревиатура из двух слов на иврите: хороший отец ²

конце концов, на хамство можно напороться в любом обществе. Но когда я осознал, что антисемитизм является в Советском Союзе государственной политикой, как в Германии при Гитлере, и понял, чем это может кончиться, то стал готовиться к жизни за бугром. Не хотел, чтобы моя дочка росла в стране, где у нее нет будущего. Тем более, что к началу семидесятых для отъезда в Израиль не надо было заниматься подводным плаванием и захватывать самолеты. Открылась возможность эмигрировать легально. И евреи, которые решались на отъезд, и стоявшие у руля чиновники Брежневского периода согласились играть в театре абсурда спектакль под названием "воссоединение семей". Мы с женой, например, оставляли в Киеве родителей, братьев и сестер и просили отпустить нас в Израиль к виртуальной тете в рамках "воссоединения семей". Гнусные пакости мелких чиновников, которые чинили препятствия при оформлении документов и добывании необходимых справок, евреи учились не принимать близко к сердцу. Самым неприятным испытанием были собрания по месту работы, где отъезжающих клеймили позором, обзывали предателями, неблагодарными свиньями и тому подобными прозвищами. На таких собраниях особенно усердствовали евреи. Они думали, что таким образом выдерживают экзамен на лояльность. Ну что ж, их можно было понять. Мы уезжаем, а они остаются.

Разлука со мной оказалась для папы невыносимой. Он заболел и через два месяца умер. На похороны меня, разумеется, Советы не пустили. Я нашел, через кого передать в Киев деньги на памятник.

Через четырнадцать лет, во времена Горбачевской перестройки, в железном занавесе образовалась небольшая брешь. Израильским туристам разрешили появляться в СССР. Я при первой возможности прилетел в Киев и пришел с мамой на папину могилу в Берковцах. В тот мой приезд было много встреч с родственниками и друзьями. Все убедились, что «акула сионизма» меня не проглотила, а наоборот – дала возможность почувствовать себя свободным человеком и стать равным среди равных.

В начале девяностых и мама, и Лорка с детьми и своим Сергеем приехали на жительство в Израиль. Сергей снова стал Срулем, но это уже никого не сместило. А папа остался там. Мне нашли человека, который за хорошие деньги обязался ухаживать за могилой. Но потом выяснилось, что меня обманули.

А мама умерла в 2004 году. Ей было 92 года. Умерла легко – вечером легла спать, а утром не проснулась. В один из моих приездов на кладбище в Кармиэле я у самых ворот столкнулся с доктором Стольным.

– Привет!

– Привет!

– Не самое подходящее место для встречи. Что ты тут делаешь?

– Сегодня годовщина смерти моего дяди. Пришел положить камешек на его могилу.

Оказалось, что могила дяди рядом с могилой моей мамы – в соседнем ряду: дядина голова у маминых ног.

Я никогда не обращал внимание на могилы вокруг маминой, а тут машинально прочитал надпись на иврите:

Эмиль Вакс, от скорбящих жены, детей, внуков.

Совпадение? Нет, на совпадение не похоже. В ногах у моей мамы лежит тот самый дядя Миля, которого я когда-то хотел убить веником.

– Что с тобой? – придержал меня доктор Стольный, потому что у меня закружилась голова, и я пошатнулся.

Я смотрел на чистое голубое небо и думал о том, как безжалостно устроен этот мир – даже на том свете нет справедливости. Дядя Миля снова лежит возле моей мамы, а папа далеко за морем и совсем один...